

## ПАМЯТЬ

### ЛЯМАН БАГИРОВА

*Эссе написано по просьбе Валентины Алексеевны Ельчиной,  
пенсионерки из Беларуси. Спасибо ей огромное за то,  
что напомнила мне об этом прекрасном Поэте.  
С благодарностью, автор.*

## ЛИКИ

### Эссе

*«И так, чтоб в прошлом бы – ни слова,  
Ни стона бы не зачеркнуть».  
О. Берггольц*

Кажется, Лев Толстой определил точную и высокую планку литературного труда. Похвалив чей-то рассказ, он словно невзначай обронил: «Мастерство такое, что не видать мастерства». При внешнем «каламбурстве» этой фразы она не так проста, как может показаться. Немногие даже великие писатели могут позволить себе такую роскошь как безыскусную строгость и простоту в творчестве. Ольга Берггольц владела этой роскошью. Вряд ли когда-нибудь еще прозвучит голос такой глубины, такой искренности и такого трагизма.

Мой рассказ об Ольге Федоровне Берггольц – изумительном поэте и несчастнейшей женщине. Да, именно о ней – Музе, Джоконде, Мадонне блокадного Ленинграда, для которого голос Ольги, как и звук метронома, стал символом спасения, мужества и чести, негасимой веры в то, что город выстоит, что жизнь победит смерть.

16 мая 1960 года Ольге Берггольц исполнилось пятьдесят лет. Она была против юбилейных торжеств, за которыми чувствовала фальшь. Ее долго уговаривали. Сдалась она только после просьб поэта Николая Тихонова – председателя юбилейного комитета. Когда в черном закрытом платье на сцену концертного зала филармонии поднялась Ольга Берггольц, все встали. Тихонов приготовился читать длинный доклад. А зрители – ленинградцы, отстоявшие свой город, – безмолвно стояли. Берггольц подошла к авансцене. Отказавшись от микрофона, тихо сказала:

– Спасибо, что вы пришли, что не забыли свою Олю.

В зале воцарилась тишина. Отчетливо было слышно каждое слово:

*Не искушай доверья моего,  
Я сквозь темницу пронесла его.  
Сквозь жалкое предательство друзей,  
Сквозь смерть моих возлюбленных детей.  
Ни помыслом, ни делом не солгу,  
Не искушай, – я больше не могу...*

Недовольно загудели партийные работники. Собрание явно отклонялось от протокола. Но прервать Ленинградскую Мадонну никто не решился. Ольга Федоровна продолжала читать:

*Дни проводила в диком молчанье,  
зубы сцепив, охватив колени.  
Сердце мое сторожило отчаянье,  
разум – безумия цепкие тени.  
Друг мой, ты спросишь – как же я выжила?  
Как не лишилась души, ума?  
Голос твой милый все время слышала!  
Его не могла заглушить тюрьма...*

– Это стихотворение, – сказала Берггольц, – я написала там, где собакам живется лучше, чем людям. Я повторяла его, как заклинание... Дорогие, еще раз спасибо за то, что вы здесь. Простите, что не плачу. Разучилась. Высохли слезы.

В президиуме облегченно вздохнули. Тихонов быстро прочитал доклад, Затем последовало массовое поздравление делегаций, говорили высокопарные слова, жали ей руку. Она стояла смущенная, не привыкшая к таким славословиям, отрешенная и все пушила льняную пряжу над огромным лбом, словно вспоминая что-то. Может быть, начало?..

Семья Берггольц с многочисленными родственниками жила в двухэтажном деревянном доме за Невской заставой, вблизи Шлиссельбургского тракта. Фамилия у Ольги латышская – от деда со стороны отца. Другой дед, со стороны матери, был родом из рязанской деревни. Отец, Федор Христофорович Берггольц, окончил Дерптский университет, служил военно-полевым хирургом. Был он очень начитанным человеком, прекрасным профессионалом, обладал молниеносным чувством юмора, а мама, Мария Тимофеевна Грустилина, любила поэзию и детям привила любовь к ней. Хотя отец и ушел из семьи, Ольга любила его, часто навещала и ценила его советы.

Дореволюционное детство Ольги Берггольц было самым что ни на есть буржуазным в лучших традициях дворянского усадебного быта. У нее и ее младшей сестры Марии были гувернантка и няня, сами девочки ходили в батистовых платьях и шелковых бантах в светлых косах. Девочек с детства воспитывали в почитании религиозных святынь. Оля сама активно протестовала против разрушения и разворовывания церквей, но с годами все переменялось. Нежная светлокосая девочка, словно шагнувшая из дворянской усадьбы, превратилась в пролетарскую активистку в красной косынке и транспарантом в руках. В год смерти Ленина она объявила отцу, что отказывается от Бога и хочет вступить в комсомол. Отказалась от прислуги, чтобы принципиально никого не эксплуатировать. Она даже скатерть отказывалась стелить на стол, считая ее пережитком буржуазного быта. Остригла роскошные светлые волосы, ведь стрижка – это и модно, и конструктивно, и современно! И все-таки облик вечной женственности, хрупкой будущей Мадонны властно проступал в ней, прослеживался в мягком овале лица, нежном рисунке губ и даже в остриженных волосах, льняным крылом падавших на большой лоб. Ковался новый образ – как внешний, так и внутренний. Была набожной – стала атеисткой. И все же одно качество из прежней жизни осталось в ней неизменным. Оно же и определило характер уже новой Ольги – романтический идеализм. Была идеалисткой светлокосая девочка, зачитывавшаяся Тургеневым и Толстым, стала идеалистка-комсомолка. А.М. Горький однажды назвал ее верящей.

– Что вы, Алексей Максимович, – возразила Ольга, – я безбожница! Я давно по-рвала с религией.

– Не верующая, а верящая! – подчеркнул Горький.

Поэтому в годы войны она так естественно ощущала свою родность с блокадниками, чьим голосом стал ее голос. В валенках и ватнике, пошатываясь от голода, она подходила к радиомикрофону, чтобы прочитать новые стихи.

Она знала: их ждут, ей верят, пока есть ее голос и метроном – город живет.

Дважды был растоптан комсомольский романтизм Ольги Берггольц. Первый раз – когда был арестован и вскоре погиб в заключении ее первый муж – поэт Борис Корнилов. Их совместная жизнь была недолгой, они слишком быстро расстались. Их дочь Ирина умерла в восьмилетнем возрасте. Когда его арестовали, Ольга давно уже была замужем за другим. Но беда, случившаяся с Корниловым, потрясла ее. Вскоре и ее арестовали как проходящую по делу «Литературной группы», к которой принадлежал Корнилов. После допроса, будучи на большом сроке беременности, она попала в больницу, где потеряла ребёнка. А до этого еще на воле скончалась ее вторая дочь Майя (от второго мужа – литературоведа Николая Молчанова).

*Двух детей схоронила  
Я на воле сама,  
Третью дочь погубила  
До рожденья – тюрьма...*

Второй раз романтизм Ольги Берггольц был растоптан еще безжалостней. В декабре 1938 года ее опять арестовали, обвинив в подготовке покушения на товарища Жданова. В тюрьме она отсидела 149 дней – по июнь 1939-го.

Она напрасно пыталась убедить следователя:

– Да ведь я беременная баба, куда уж мне покушаться!

В воспоминаниях мемуариста Берггольц Ольги Оконевской есть рассказ Ольги Берггольц о допросах с пристрастием:

«Следователь:

– Подумайте хорошо! Вы еще можете спасти ребенка. Только нужно назвать имена сообщников.

– Нет, гражданин следователь. Я ребенка не сохранию. (И в это время кровь как хлынет...) Немедленно отправьте меня в больницу!

– Еще чего захотела!

– Называйте меня на «вы». Я – политическая.

– Ты заключенная.

– Но ведь я в советской тюрьме».

– Понимаешь, Оля, – призналась Берггольц своей тезке, – мы должны были там держать нашу марку.

И прибавила:

– Меня все-таки повели в больницу. Пешком. По снегу. Босую. Под конвоем.

Только заступничество Александра Фадеева вырвало Ольгу из палаческих лап «ревнителей правды» профессией которых стало выбивать любые показания любой ценой. Но она никогда не забудет, что было с нею в заключении, с потрясающей силой будет описывать это в своих дневниках:

«Ощущение тюрьмы сейчас, после пяти месяцев воли возникает во мне острее, чем в первые дни после освобождения. Не только реально чувствую, обоняю этот тягостный запах коридора из тюрьмы в Большой дом, запах рыбы, сырости, лука, стук шагов, но и то смешанное состояние обреченности, безысходности, с которым шла на допрос. Вынули душу, копались в ней вонючими пальцами, плевали в нее, гадили, потом сунули обратно и говорят: живи!»

Она и жила, но теперь на случай нового ареста держала в сумочке зубную щетку и круглые резинки для чулок.

Брак со вторым мужем – литературоведом Николаем Степановичем Молчановым был счастьем для Ольги. Он обладал такой же цельной натурой, что и она. К началу Отечественной войны Николай был почти инвалидом от ран, полученных еще на гражданской. Но, когда началась Отечественная, он не стал уклоняться от работы и был направлен на строительство укреплений. Домой вернулся с дистрофией в необратимой стадии. Умер в госпитале. Ольга посвятила ему лучшую, по собственному счету, поэтическую книгу «Узел». Она ходила к нему в госпиталь, а он почти уже не узнавал ее. И так получилось, что не смогла его похоронить. От работы на радио никто ее не освобождал. И что бы с ней самой ни происходило, она строго по графику появлялась в студии, и в эфире раздавалось:

– Внимание! Говорит Ленинград! Слушай нас, родная страна. У микрофона поэтесса Ольга Берггольц.

Это была ее идея – исполнить в блокадном Ленинграде Седьмую (Ленинградскую) симфонию Дмитрия Шостаковича. Это она со свойственной ей решимостью добилась восстановления продовольственных карточек для опальной Анны Ахматовой после злосчастного постановления о журналах «Звезда» и «Ленинград» в 1946 году. Да и скольким людям еще помогала она после войны – маленькая ленинградская Мадонна.

Ольга Берггольц, казалось, раздавленная сыпавшимися на нее несчастьями, проридчески написала:

*Когда прижимались солдаты, как тени,  
к земле и уже не могли оторваться, –  
всегда находился в такое мгновенье  
один безымянный, сумевший Подняться.*

Она и сама всегда пыталась подняться. Над огромной болью своей и над огромной обидой. Над гибелью двух любимых ею мужчин. Над потерей всех четверых своих детей. Над издевательствами в тюрьме, после которых ей, страстно мечтавшей о детях, пришлось проститься с мечтой о материнстве. Над предательством друзей и изменой последнего мужа – литературоведа Георгия Макагоненко. Над растоптанным сапогами романтизмом. Над одиночеством.

Пыталась подняться. И поднималась. Но измученное сердце должно находить забытые хоть в чем-то. И она находила. К сожалению, как это часто бывает с творческими людьми – на дне рюмки.

«Пьяная Ленинградская Мадонна» – стали называть ее к концу жизни. Пила она страшно, безудержно. И так же безудержна была в гневе, набрасываясь на тех, в ком чувствовала подлость, трусость или фальшь. Так однажды яростно на каком-то собрании она набросилась на человека, велеречиво изъяснявшегося Дмитрию Шостаковичу в любви и преданности.

– А где ты был? – гремела Ольга, – когда его топтали?! Когда его поносили и унижали? Где ты был?! Сейчас вы все, конечно, его любите, и лучшие друзья ему. А раньше – в грязь, в гроб готовы были загнать. Холуи!

Ее не трогали, ей прощали все. Кто посмеет тронуть икону?.. А Ольга Берггольц для ленинградцев была как святая.

Она умела гордиться современниками, а перед иными просто благоговела.

Так она относилась к Шостаковичу. «Бетховена я люблю, но Шостакович мне гораздо ближе. Здесь и одиночество, и трагизм. Это – нечто бестекстовое...»

Уход из жизни каждого из своих друзей она воспринимала очень тяжело. Друзья умирали, уходили по невозвратной дороге. Ахматова, Тушнова, Светлов, Александр Яшин, Твардовский, Кассиль. «Подбираемся, подбираемся», – горько проносила она, услышав очередную печальную весть.

Иногда она бывала мягкой, доброй, ласковой. Очень любила цветы: гвоздики, розы, скромный душистый горошек и больше всего – хризантемы.

Эта женщина, так много и так несправедливо страдавшая в жизни, не любила говорить о любви. Но этим чувством была напитана ее поэзия. В суровых и безыскусных строках подчас больше любви, чем в тысячах красивых слов. Но некоторые ее высказывания навсегда врезались в сердце. «Любовь, как спущенный курок, – не вернуть, не догнать, не остановить». «Счастье есть всегда, нужно только узнать его, когда придет, и не испугаться его, может быть, не похожее на задуманное...»

Ольга Федоровна Берргольц умерла 13 ноября 1975 года. Ее последним желанием было лежать на Пискаревском кладбище – там, где лежат тысячи ленинградцев, погибших в блокаду, где на граните выбиты написанные ею слова: «...никто не забыт, и ничто не забыто». Но похоронили ее на Литераторских мостках, посчитав, что Пискаревское для нее слишком почетно...

Существует последняя архивная запись Ольги Федоровны. Она читает стихи. Худошавая, немолодая, элегантно одетая женщина. Лицо, увы, выдает следы пагубной привычки. Но как же твердо, как уверенно звучит голос:

*А я вам говорю, что нет  
Напрасно прожитых мной лет,  
Ненужно пройденных путей,  
Впустую слышанных вестей.  
Нет невоспринятых миров,  
Нет мимо розданных даров,  
Любви напрасной тоже нет,  
Любви обманутой, больной,  
Ее нетленно-чистый свет  
Всегда во мне, всегда со мной.  
И никогда не поздно снова  
Начать всю жизнь, начать весь путь,  
И так, чтоб в прошлом бы – ни слова,  
Ни стоны бы не зачеркнуть.*

**P.S.** Память моя все больше начинает походить на стремительно мчащийся поезд. И подобно его освещенным окнам в ней ярко вспыхивают три лица. Это лица женщин, никак не связанных между собой, и никогда не знавших о существовании друг друга, и, тем не менее, странным и страшным образом схожих между собой, ибо опалены были одной судьбой, одним временем, в котором им довелось жить. И, вспоминая их, я отчетливо понимаю: если к кому и можно применить слово «лики», то только к ним.

## **Лик 1. Родственница**

Это лицо памятнее мне более остальных. Не потому, что оно было красивее или уродливее, чем другие, вовсе нет! Обыкновенное лицо пожилой женщины с очками в черепаховой оправе. Но было в нем нечто монументальное: словно вырублено из куска цельного гранита – каменные складки на темных щеках, твердый подбородок, лоб, прочерченный резкими линиями, даже волосы – роскошные, седые, казались застывшими волнами. И над всем этим великолепием царствовал взгляд из-под затемненных стекол. Трудно даже сейчас найти ему определение: не то, чтобы испытующий – для этого он был слишком спокойным, и не то, чтобы властным – для этого он был слишком усталым, а скорее – неподкупным, не способным поддаться на какую-либо фальшь, физического ли, духовного ли свойства.

Говорила эта женщина мало и вообще разительно отличалась от других. Большинство кавказских женщин очень эмоциональны и общительны. Более того, излишняя сдержанность в проявлении родственных ли, дружеских ли чувств не особо приветствуется и расценивается как холодность или спесь. Но она была не холодна, не спесива, а только необыкновенно сдержанна и строга.

Иногда до меня долетали обрывки разговоров старших о ней. «Не дай Бог никому пережить того, что она пережила!»; «Потерять всех родных в годы репрессий – мыслимое ли дело для юной девушки?»; «Пережить допросы и пытки – как она только выдержала?» – вот далеко не все, что мне доводилось слышать. Но даже говорили об этом тихо, с оттенком не то ужаса, не то благоговения, ибо уже само то, что человек выжил в жерновах репрессий, было чудом.

Казалось, она была не способна на проявление любых ярких чувств. Никогда ни смеха, ни слез. Иногда улыбка, иногда горькая усмешка. Ничего более. Но всякий раз после ее прихода/ухода создавалось впечатление какой-то застывшей печали. Словно человек сроднился с этим чувством, неся его в себе много лет, и – парадокс! – то, что должно было бы угнетать, разрушать, в конце концов, помогло выковать облик и характер. Соткалась некая Фея Печали. Если бы мне доверили иллюстрировать известную сказку Андерсена «Калоши счастья», то Фею Печали я рисовала бы именно с этой женщины.

## **Лик 2. Старуха**

Это лицо было страшнее всех. Строго говоря, это была фотография в книге, посвященной женщинам – жертвам сталинских репрессий. Я нигде и никогда не встречала столько боли и обреченности во взгляде. Как выяснилось, женщину эту арестовали вместе с дочерью. На момент ареста ей было около 80-ти лет, она была не нужна, и ее не трогали, основное обвинение было предъявлено дочери, но мать взяли, чтобы поскорее сломить дочь. Дочь постоянно таскали на допросы, не давали спать, истязали. Мать была очень набожна, постоянно молилась о спасении. После очередного допроса дочери она подошла к ней и тихо по-французски сказала: «Если будет совсем плохо, разрешаю наложить на себя руки. Грех твой перед Богом беру на себя». Можно, нет, невозможно себе представить, чего стоило ей – Матери, истово верующей женщине, произнести эти слова... Снимок был сделан за несколько дней до смерти этой женщины. Дочери на тот момент уже не было...

Если бы меня попросили изобразить Страдание, я бы сразу вспомнила о фотографии той женщины.

## **Лик 3. Ольга Берггольц**

У родителей была грампластинка под названием «Читает Ольга Берггольц». Мне было шесть лет, и в стихи я особо не вслушивалась. Пластинка была заезженной и скворчала, как сотни сковородок с жарящейся картошкой. Кроме того, голос поэтессы казался мне слишком высоким и надрывным, это немного пугало. Гораздо больше мне нравилось рассматривать ее портрет на обложке. Удлиненное, скуластое лицо, крыло светлых волос, высокий лоб и взгляд... Обращенный в себя, отстраненный и чуть удивленный. Словно спрашивающий: «За что?»

Если бы меня попросили изобразить безмолвный вечный вопрос, я бы вспомнила об Ольге Берггольц...

*Прим. При написании эссе использованы материалы из Интернета, воспоминания Ольги Оконевской и Е.Евтушенко об Ольге Берггольц, архивные записи самой поэтессы и прочие материалы.*